



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев

I

Низенький, худенький старичок, хилый и немощный, —
Беспомощный и убогий,

как он сам о себе говорит, — похожий на «облак тощий», на изнемогающий дневной месяц.

Вот он сидит у себя в жарко натопленной комнате, зябнет и кутается в плед; или бредет по улице в помятой шляпе и волочит по земле рукав поношенной шубы. Задумчив, рассеян, одет небрежно, «ни на одну пуговицу не застегнут, как следует».

Бритое лицо в очках напоминает старого немца, учителя музыки. Редкие, мягкие седые волосы, отстающие от висков, всклокоченные:

Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах...

Болезненно сжатые губы. Глаза, утомленные, как бы ослепленные блеском своей собственной мысли; в этих глазах, —

Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет и не может...

По внешности так же трудно судить о нем, как по черенку могильной урны о хранившихся в ней благовониях и о слезах, над нею пролитых.

«Тютчевы принадлежали к старинному русскому дворянству. В Никоновской летописи упоминается “хитрый муж”, Захар Тютчев, которого Дмитрий Донской, перед началом Куликовского побоища, подсылал к Мамаю. В числе воевод Иоанна III, усмирявших Псков, называется также “воевода Борис Тютчев

Слепой». А в половине XVIII века брянские помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, доходившим до неистовства» («Биография Ф. И. Тютчева», И. С. Аксакова).

Если не все, то очень многое в личности, в жизни и в поэзии Тютчева образовано, как верно заметил Аксаков, «старым дворянским бытом», крепостным правом: тютчевщина — обломовщина; обеспеченность и беспечность, праздность и лень. Старый дядька, Николай Афанасьевич Хлопов взлелеял его с 4-летнего возраста и потом всю жизнь нянчился с ним. Всю жизнь оставался он «хлоповским дитятею». В Мюнхене, так же как в родной усадьбе, жил не по Шеллингу, а по Хлопову.

Будучи секретарем посольства в Турине, запер однажды дверь на ключ и, никому не сказавшись, уехал в Швейцарию. Когда Николай I узнал об этом, то велел ему подать в отставку и снял с него камергерство. Потом ему вернули все, и он успокоился на теплом местечке председателем комитета иностранной цензуры.

Бродить без дела и без цели, —

такова мудрость Хлопова, мудрость Тютчева. «Ум его парил, а сам он, будто свинцовыми гирями, прикован был долу немощью воли, страстями, избалованностью. Ум деятельный, не знавший ни отдыха, ни истомы, при совершенной неспособности к действию» (Аксаков).

Как будто родился стариком и никогда не был молод.

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!

Вся его жизнь — «духовный обморок», «страдальческий застой» — не жизнь, а смерть заживо.

Каким-то сном усопшей тени
Я спал, зарытый, но живой.

Тут в самой жизни, в судьбе Тютчева — противоположное подобие Некрасову: в русском барстве, в русском рабстве — Тютчев, как на ложе из роз, убаюкан смертною негою, а Некрасов измучен смертною мукою, изранен до смерти шипами тех же роз. Растлевающая мука и растлевающая нега рабства.

Сам Тютчев — «весь добродушие и незлобие», но в жизни его что-то недоброе, неладное, какая-то злая сила, начало смерти, тления, разрушения.

Поэзия, творчество не борется в нем с этою силою разрушительной, а само становится ею. Поэт делает все, что от него зависит, чтобы уничтожить в себе поэзию.

«Его стихи увидели свет, только благодаря случайному, постороннему вмешательству» (Аксаков). У него отвращение к виду печатных строк. «При издании своих стихотворений он был в стороне; за него распоряжались, рядили и судили другие; он даже и не заглянул в эту книжечку. Не было возможности достать подлинников руки поэта, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех списках, которые удалось добыть частью от родных, частью от посторонних. Ему доставлено было оглавление: оно пролежало у него месяц и было возвращено не просмотренное».

Не мог склонить своей я лени праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась.

Князь Гагарин, иезуит, в 1836 году собрал и послал Пушкину стихи Тютчева¹. Пушкин напечатал их в «Современнике». — «Он ценит их, как должно, и отзывается о них весьма сочувственно», — пишет Гагарин. — «А все же я очень сомневаюсь, чтобы мое бумагомарание заслуживало чести быть напечатанным», — возражает Тютчев².

Что это? Скромность гения? Может быть. Но и лень Обломова. Зарывает талант в землю, как ленивый раб; зажегши свечу, ставит ее под сосуд.

Да, если бы от него зависело, он истребил бы себя из русской поэзии.

«Однажды жег ненужные бумаги и нечаянно бросил в огонь тетрадь со стихами».

«Я довольно скоро утешился, вспомнив, что сгорела и Александрийская библиотека», — шутил он впоследствии.

Злая шутка. Тут за видимой легкостью какая-то страшная тяжесть. Кажется иногда, что не только эту тетрадь со стихами, но и всю свою поэзию — дар Божий — готов кинуть в огонь, как сор.

Нелюбовь к славе — одно из двух: или смирение, или презрение к людям. Что же именно у Тютчева?

В славе человек высказывается, общается с людьми, отдает себя людям. А жажда забвения — жажда одиночества. Славобоязнь — человекобоязнь. Тютчев бежит от славы, потому что бежит от людей, скрывается и что-то скрывает от них, таит, молчит.

Молчи, скрывайся и таи...

Славобоязнь — светобоязнь. В свете все тайное делается явным. Но этого-то он и боится. Свет славы жжет ему глаза.

О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!
Ночь, ночь, о, где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса!

Нас, дневных, пугает ночь. В ночи и в тайне происходит самое святое или самое грешное. Что же именно у Тютчева?

Так же как поэзию, силу творчества, уничтожает он в себе и другую великую силу — любовь к родине.

Потомок древнего рода, уходящего во тьму веков, он, казалось бы, должен быть связан с родиной корнями крепкими, как корни дуба. Но вот оказывается, что он — как срезанный цветок, опущенный в воду, которому все равно, где цвести и вянуть.

В 1822 году граф Остерман-Толстой, родственник Федора Ивановича, усадил его, 18-летнего мальчика, с собой в карету и увез за границу, в Мюнхен. Он уехал из России мальчиком, а вернулся почти стариком. С лишком 22 года, лучшие годы жизни, провел на чужбине. «Перестает как бы существовать для России. Самое имя его забывается». О том, что происходило с ним в эти годы, мы почти ничего не знаем: тут пробел, провал в жизнеописании Тютчева, — то «молчание», *silentium*, которого так хотелось ему. Там, за границу, он женился, стал отцом семейства, овдовел, снова женился, оба раза на иностранках, не знавших ни слова по-русски, так что целые годы не слышал русской речи, наконец сам сделался «почти иностранцем» и, когда вернулся на родину, она показалась ему чужбиною.

Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем...

Славянофил, «народник», воспевавший «эти бедные селенья, эту скудную природу», он даже в течение двух недель не мог ужиться в русской деревенской глуши, например, в своем родовом поместье Брянского уезда (Аксаков). Только и думал о том, как бы бежать из России.

От родины отрекается с такою же легкостью, как от поэзии. Но может быть, и за эту легкостью та же страшная тяжесть — самоубийство, саморазрушение?

«Он был совершенно чужд, в своем домашнем быту, не только православно-церковных обычаев, но даже и прямых отношений к церковно-русской стихии», — говорит Аксаков. Это значит: жил, как все русские интеллигенты-«безбожники».

От языка, от родины, от веры отцов — от всего отрекается. Для чего? На этот вопрос в жизни его нет ответа, — ответ в его поэзии.

«Божественный старец», — умиляется Фет. Да, наружность Тютчева обманчива: старичок добренький, тихенький, — мухи не обидит, воды не замутит; никому зла не сделает; просидел всю жизнь в халате обломовском, хлоповском, что-то писал, бросал бумажки в огонь да вздыхал, глядя, как тлеют они:

Так грустно тлится жизнь моя...

Вся жизнь — тление, пустое или опустошенное место. Но если взглянуть в жизнь его сквозь его же поэзию, то начинает казаться, что пустое место — темная яма, и там, в темноте, колдует колдун, — и «божественное» лицо становится демоническим; начинает казаться, что не только в поэзии, но и в жизни его — колдовство, — и сам колдун заколдованный; что не только в поэзии, но и в жизни его — отравы, — и сам отравитель отравленный, «сглаженный», «порченный».

У Тургенева есть «Рассказ отца Алексея»³. Сын священника, десятилетний мальчик Яков повстречался однажды в лесу с каким-то «старичком зеленым».

«— Маленький старичок с горбиною, ножками все семенит и посмеивается — и весь, как лист, зеленый.

— Как, и лицо зеленое?

— И лицо, и волосы, и самые даже глаза.

— Ты, чай, заснул в лесу, на припеке, да и видел старичка того во сне»...

Старичок дал Якову вкусных орешков: «ядрышко небольшое, в роде каштанчика, словно шероховатое; на наши обыкновенные орехи непохоже».

Прошли годы, мальчик вырос и оказался порченным.

«— Не узнаю я моего Якова, — рассказывает о. Алексей: — скучный такой стал, угрюмый, слова от него не добьешься... Дичится, словно волк, и глядит все исподлобья... А то вдруг возьмет да уставится в угол и словно весь окоченеет... Жутко таково!

Вот однажды, улуча время, стал я слезно молить Якова:

— Скажи, мол, мне, как отцу по плоти и по духу, Яша, что с тобою?

— Ну, батюшка, — говорит он мне вдруг, — разжалобил ты меня; скажу я тебе всю правду. Вот уже четвертый месяц, как я его вижу...

— Его? Кого его?

— Да того... что к ночи называть неудобно.

Я так и похолодел весь и затрясся... Вспомнился мне вдруг старичок в лесу, что каштанчик ему подарил.

— Какой он из себя, — говорю, — зеленый?

— Нет, не зеленый, а черный.

— С рогами?

— Нет, он как человек, — только весь черный.

— Да это тень тебе мерещится, — говорю я, — это чернота от тени»...

Судьба Якова — судьба Тютчева. Он тоже повстречался в лесу со старичком зеленым или, может быть, увидел его во сне, уснув на припеке, в один из тех жарких дней, которые так любил:

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет;
И сам теперь Великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет.

Недаром зеленый старичок «посмеивается и семенит ножками»: ножки у него козлиные; это веселый бог или бес, русский леший или древний Пан. Пан значит Все: все — Бог; всебожие, пантеизм — религия Тютчева.

Пан спел ему страшную песню «про древний хаос, про родимый» и подарил волшебную свирель, полную звуками хаоса; подарил также волшебный орешек, плод чужой земли: как съел он его, так и почувствовал, что родина стала чужбиною, чужбина — родиной:

Край иной — родимый край...

И отрекся от веры отцов своих, сделался безбожником, перестал ходить в церковь: бес его не пускает, древний бог — новый бес.

И окаменел, одичал, замолчал:

Молчи, скрывайся и таи...

«Чернота от тени» легла на него и окружила его «паническим ужасом»⁴.

Вглядимся же в эту черноту, в этот ужас — в поэзию Тютчева.

II

Жизнь — сон. Вообще живые спят мертвым сном и ничего не видят, кроме того, что им снится; но иногда сон становится прозрачным, как бы предутренним; спящий знает, что спит, и сквозь сон, сквозь жизнь видит иную действительность. Сон жизни — «Сон на море»:

И море, и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
И две беспредельности были во мне, —
И мной своевольно играли оне...

Одна беспредельность — мир стихийный, «мир, как воля», — хаос; другая — мир человеческий, «мир, как представление», — космос. Космос «веет легко над гремящею тьмой» хаоса — легко, беззвучно и прозрачно, потому что призрачно, как сон «в лучах огневицы», горячки, «болезненно-яркий, волшебнo-немой». Дурной сон, бред, наваждение, злое волшебство, черная магия: недаром сквозь сон слышится спящему грохот пучины, грохот хаоса, «как дикий волшебника вой». Древний Хаос — отец сущего, «отец лжи» (ибо все сущее — ложь), воеет свои заклинания, вызывает лживые призраки космоса, чтобы обольстить, заманить человека в свою темную бездну и там уничтожить.

Если бы Шопенгауэр знал Тютчева, то привел бы эти стихи как лучшее истолкование «Мира как воли и представления».

Чтобы понять мир, надо вывернуть его наизнанку, почувствовать обратное тому, что чувствуют все: сон, как явь; явь, как сон.

Затих повсюду шум и гам,
И воцарилось молчанье;
Ходили тени по стенам
И полусонное мерцанье...
И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлеч незримо в царство теней.

Что это, пробуждение или засыпание? Явь или сон? Ни то ни другое, а сумеречная полоса между тем и другим, «порог двойного бытия».

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,

О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!

Мы это чувствуем изредка, а он — всегда; нам нужно усилие, чтобы дойти до этого, а ему, — чтобы уйти от этого. Для нас воля сознанием освещается, а для него — затемняется; не ночь — покров дня, а день — покров ночи; «златотканый, наброшенный над бездной безымянной»:

Но меркнет день, настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покроя,
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена...

Меркнет сознание — и обнажается бездна воли, бездна мрака. Мрак истинен, свет лжив; свет кажется, мрак есть.

«Двойное бытие»⁵ — условие того, что люди когда-то называли «магией». Все явления мира здешнего — клавиши, звонкие рычаги миров иных: ударишь по клавише — отзовется струна; коснешься явления — ответит сущность.

Никто так не умет играть на этих клавишах, как Тютчев. Вот почему стихи его подобны заклинаниям, волшебным зовам и шепотам: хотим, не хотим, мы идем туда, куда он зовет; его глазами смотрим, его ушами слушаем; мы — в нем, он — в нас. Можно не вступать в волшебный круг, но раз вступив, уже не вырвешься: прежде чем поняли, что это, — мы уже заколдованы.

Двойное бытие — условие всякой религии. Но различие религии начинается там, где определяется отношение двух бытий, двух миров.

Христианство утверждает их родственную связь, их последнее соединение в Боге. Если христианство — религия положительная, то религия отрицательная, антирелигия, — буддизм, утверждающий вечное разделение, отчуждение двух миров: может быть, и есть в здешнем мире что-нибудь нездешнее, божественное, но связи с божественным для человека нет, нет религии (religio и значит связь).

И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.

Человеческая мысль, как струя фонтана, жадно рвется к небу:

Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный, преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

Человек — не сын Божий, а «сирота бездомный». Сила, правящая миром, — слепая и злая, вражья:

Пред стихийной вражьей силой,
Молча руки опустя,
Человек стоит уныло,
Беспомощное дитя.

Человек — сирота, и весь мир тоже:

И мнится: мир осиротелый
Неотразимый рок настиг.

Христианство, утверждая воплощение Бога в мире, тем самым утверждает незыблемую точку опоры для воли, для действия, несокрушимую скалу в призрачной зыби явлений: есть за что ухватиться, есть на что опереться. Если мир здешний, временный — уже начало мира вечного, то есть что делать и делать стоит. Вот почему христианство — религия действия⁶, и, сколько бы ни отрекался христианский Запад от своего религиозного сознания, — в своем бессознательном действии он утверждает самую сущность христианства.

Но, если, как утверждает буддийский Восток, весь мир явлений — только призрак, только лживый покров, Майя, над бездной ничтожества; если тот мир — хаос, разрушение, уничтожение этого мира, то нет никакой точки опоры для воли, для действия: ухватиться не за что, опереться не на что: за что ни ухватишься, — все тает, как дым; на что ни обопрешься, — все рушится. И делать нечего, — ничего не стоит делать, игра не стоит свеч. Вот почему буддизм — религия бездействия, религия созерцания по преимуществу. Такова религия Тютчева.

Удел человека в действии — удел орла в полете.

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего!
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией Божество.
Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон —
И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен.

Над ним — твердь настоящая, под ним — отраженная. Но это второе небо, нижнее — только обман зрения: спящему лебедю стоит проснуться, пошевелиться, чтобы разбилось водное зеркало, и небо внизу сделалось омутом. А может быть, и сам лебедь только оборотень, манящий в омут: бросься в него и по-

гибнешь. Знает ли это колдун, вызвавший оборотня? Если и знает, то молчит:

Молчи, скрывайся и таи...

Человек человеку нужен в действии. Действие соединяет, созерцание уединяет. Соединение людей — толпа, а толпа — насилие:

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей...

И одна молитва у души — уйти от людей, от жизни:

Душа моя — Элизиум теней...
Что общего меж жизнью и тобою?

Уйти от жизни — от пошлости:

О, если бы живые крылья
Души, парящей над землей,
Ее спасали от насилия
Безмерной пошлости людской!

Нехорошо быть человеку одному? Нет, только одному и хорошо; только на безлюдных вершинах последняя радость:

Вот взобрался я на вершину,
Сижу здесь, радостен и тих...
Ты к людям, ключ, спешишь в долину, —
Попробуй — каково у них!

Чем дальше от людей, тем радостней:

Душа хотела б быть звездой...

Кажется, дальше нельзя? Нет, можно:

Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как в небе полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, —
Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

Быть невидимым — быть божественным; уединение — обожествление, а человек хочет быть Богом, хотя бы только во сне:

По высям творенья, как Бог, я шагал, —
И мир подо мною недвижно сиял...

Слова соединяют людей, молчание уединяет. Но если не нужно соединения, то и слов не нужно. В словах — ложь:

Мысль изреченная есть ложь.

Истина — в молчании:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои...
Лишь жить в самом себе умей.

Вот чистейший кристалл того яда, которым все мы отравлены, — наиболее противоположная христианству заповедь не любви. Страшная заповедь — и всего страшнее то, что она не ложь: чтобы полюбить других, как себя, отдать себя другим, — надо сперва найти себя, познать себя; а кто смеет сказать, что он это сделал?

Религия молчания — *Silentium* — не ложь, а половина истины, которая без другой половины убийственнее всякой лжи⁷.

Двумя силами движется мир человеческий, так же как стихийный: силой притяжения и силой отталкивания атомов-личностей. Из этих двух сил только одну — силу отталкивания утверждает Тютчев. Но, если бы исполнилось то, чего он хочет, то мир человеческий, так же как стихийный, распался бы в хаос.

В мире человеческом — ложь и зло, но в мире стихийном — истина и благо, — так думал он сначала.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе;
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Вопрос остался без ответа, но зато углубился до бесконечности, когда вопрошающий увидел, что разлад — не только между человеком и природой, но и в самой природе, что зло — в самом корне бытия, в самой сущности мира как воли.

Не только жизнь человека, но жизнь природы — дурной сон. Как больная, мечется она в жару «огневицы» и жаждет вечного сумрака, вечной свежести небытия. Чувство жизни в теле природы, как в теле человеческом — чувство больного в ослепительно-яркий и знойный день.

Хоть свежесть утренняя веет
 В моих всклокоченных власах,
 На мне, я чувю, тяготеет
 Вчерашний зной, вчерашний прах.
 О, как пронзительны и дики,
 Как ненавистны для меня
 Сей шум, движенья, говор, клики
 Младого, пламенного дня!
 О, как лучи его багровы,
 Как жгут они мои глаза!
 Ночь, ночь, о, где твои покровы,
 Твой тихий сумрак и роса!

Свет и сумрак, зной и свежесть, — это на тысячи ладов повторяется. Недоступный сумрак, чтобы сделать свет ослепительней; недоступная свежесть, чтобы сделать зной нестерпимее.

Уж солнца раскаленный шар
 С главы своей земля скатила...
 Грудь дышит легче и вольней,
 Освобожденная от зноя...
 И сладкий трепет, как струя,
 По жилам пробежал природы,
 Как бы горячих ног ея
 Коснулись ключевые воды.

Но выкатится снова раскаленный шар, и снова будет зной и бред. Вся природа, как умирающий от жажды, пьет студеную воду во сне, но жажда не утоляется.

Вечный зной, вечный бред. Ни освеженья, ни забвенья — только беспамятство:

Беспамятство, как Атлас, давит сушу...

Беспамятство, безумие — не только в человеке, но и в природе:

Там, где с землею обгорелой
 Слился, как дым, небесный свод,
 Там, в беззаботности веселой,
 Безумье жалкое живет...
 Под раскаленными лучами,
 Зарывшись в пламенных песках,
 Оно стеклянными очами
 Чего-то ищет в облаках.
 То вспрынет вдруг и, чутким ухом
 Припав к растреснувшей земле,
 Чему-то внемлет жадным слухом
 С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,
 Что слышит ток подземных вод,
 И колыбельное их пенье,
 И шумный из земли исход.

Но ни на небе, ни на земле нет вод утоляющих. «Пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем»⁸. Никто не услышит этой мольбы, потому что и слышать некому.

Зло в человек, зло в природе — и зло на зло откликается: когда человек входит в природу, вся она в смятении:

И мы вошли: все было так спокойно,
 Все так от века мирно и темно.
 Фонтан журчал, недвижимо и стройно
 Соседний кипарис глядел в окно.
 Вдруг все смутилось: судорожный трепет
 По ветвям кипарисным пробежал;
 Фонтан замолк, и некий чудный лепет,
 Как бы сквозь сон, невнятно прошептал!..
 Что это, друг? Иль злая жизнь недаром,
 Та жизнь — увы! — что в нас тогда текла,
 Та злая жизнь с ее мятежным жаром
 Через порог заветный перешла?

Злая жизнь переходит из тела человеческого в тело природы, как жар болезни, как зараза, чума. Пир жизни — пир во время чумы. Кубок жизни отравлен:

И девы-розы пьем дыханье,
 Быть может, полное чумы.

Здесь уже в Пушкине — Тютчев, в самом здоровом — самый больной.

Жизнь природы кажется невинной, по крайней мере, невиннее, чем жизнь людей. Но это обман.

Вчера, в мечтах обворуженных,
 С последним месяца лучом
 На веждах, томно озаренных,
 Ты поздним позабылась сном.
 [Утихло вокруг тебя молчанье,
 И тень нахмурилась темней,
 И груди ровное дыханье
 Струилось в воздухе слышней.]
 Но сквозь воздушный завес окон
 Недолго лился мрак ночной.
 [И твой, взвеваясь, сонный локон
 Играл с неведомой мечтой.]

Вот тихоструйно, тиховейно,
 Как ветерком занесено,
 Дымно-легко, мглисто-лилейно
 Вдруг что-то порхнуло в окно.
 Вот невидимкой пробежало
 По темно брезжущим коврам;
 Вот, ухватясь за одеяло,
 Взбираться стало по краям;
 Вот, словно змейкой извиваясь,
 Оно на ложе взобралось,
 Вот, словно лента развеваясь,
 Меж пологам развилось.
 Вдруг животрепетным сияньем
 Коснувшись персей молодых,
 Румяным, громким восклицаньем
 Раскрыло шелк ресниц твоих!

Что это? А вот что:

На небе полоса видна —
 И словно *скрытой страстью рдеа*,
 Она все ярче, все живее,
 Все разгорается она.

И у невинной девушки —

Алели щеки, как заря,
 Все ярче *рдеа* и горя.

Это — рдение страсти, огонь злой жизни. Вот что крадется на ложе невинности. Свет, как соблазн, как обольщение, растление Девственницы-Ночи. Свет — зло, свет — грех, свет — смерть, ибо «жалю греха — смерть»⁹. Не Бог, а дьявол сказал: да будет свет!

У Достоевского Свидригайлову снится сон: мертвая девочка встает в гробу и тянется к нему с нечистою ласкою: такова прирота Тютчева.

И вот почему свет его — рдеющий, свет тления, сумеречный свет гниения, разложения, тусклый свет зарниц:

Одни зарницы огневые,
 Воспламеняясь чередой,
 Как демоны-глухонемые,
 Ведут беседу меж собой.
 Как по условленному знаку,
 Вдруг неба вспыхнет полоса...
 И вот опять все потемнело,
 Все стихло в чуткой темноте,
 Как бы таинственное дело
 Решалось там, на высоте.

И, когда еще нет грозы, по тому, как рдеют звезды, видно, что будет гроза.

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды *рдеют!*
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...

Колдовское небо заколдовывает землю и плод земли, зреющий хлеб: люди съедят хлеб и будут заколдованы, отравлены¹⁰. Так вот какое «таинственное дело» решается там, на высоте: злое дело, злая жизнь мира.

Но нет злее зла, чем то, что мир любит зло, космос любит хаос.

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!

И добрый любит зло, и невинный любит грех, и здоровый любит болезнь.

Люблю сей Божий гнев, люблю сие незримо
Кругом разлитое таинственное зло...

Да, можно и ее любить, лихорадку болотную, «Маларию». «Люблю зло», — это он первый сказал, но не первый почувствовал.

Есть упоение в бою,
У бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы!

Опять в Пушкине — Тютчев, в самом здоровом — самый больной.

В космос врывается хаос, как пена ревущих валов, — в немые видения спящего на море. Хаос вкраплен в космос, и человек жадно ищет этих крапин, этих прорех в златотканом покрове дня, сквозь которые зияет ночь, — и как рад, когда их найдет!

Вечер мгlistый и ненастный...
Чу! не жаворонка ль глас?
Ты ли утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?

Гибкий, резвый, звучно-ясный,
 В этот мертвый, поздний час,
 Как безумья смех ужасный,
 Он всю душу мне потряс!..

Так на безумие природы откликается безумие души человеческой.

Или осенней порой —

Когда поля уж пусты, рощи голы,
 Бледнее небо, пасмурнее доли, —
 Вдруг ветер повеет, теплый и сырой,
 Опавший лист погонит пред собою
 И душу мне обдаст как бы весною.

Или в веселом грохоте летних бурь, вдруг —

...вся дубрава задрожит
 Широколиственно и шумно...
 И кой-где первый желтый лист,
 Крутясь, слетает на дорогу.

И человек опять рад: нашел-таки, чего искал, — в цвете жизни увядание, разрушение, тление, — родимое пятнышко хаоса.

Как увядающее мило!
 Какая прелесть в нем для нас!

Вот почему —

Есть в светлости осенних вечеров
 Умильная, таинственная прелесть...
 Зловещий блеск и пестрота деревьев,
 Багряных листьев томный, легкий шелест...
 Ущерб, изнеможенье и на всем
 Та кроткая улыбка увяданья,
 Что в существе разумном мы зовем
 Возвышенной стыдливостью страданья.

Любовь к страданию — любовь к злу, к разрушению, к хаосу.

В рдеющей дымке зноя — накопление грозы; в каждом луче полдня — зародыш тьмы; в каждом дыхании космоса — зародыш хаоса.

В душном воздухе молчанье,
 Как предчувствие грозы...

Дева, дева, что волнует
 Дымку персей молодых?

Что мутится, что тоскует
 Влажный блеск очей твоих?
 Что, бледнея, замирает
 Пламя девственных ланит?
 Что так *грудь твою спирает?*

Что? А вот что:

И гроб опущен уж в могилу...
Спирает грудь тлетворный дух.

Жар жизни — жар тления. В избытке жизни — семя смерти.
 Грозное — сладострастное; сладострастное — смертоносное.

Глаза, потупленные ниц,
 В минуты страстного лобзанья,
 И сквозь опущенных ресниц
 Угрюмый, тусклый огонь желанья, —

эти глаза — то же, что небо, полное грозою:

Словно тяжкие ресницы
 Разверзались порою,
 И сквозь беглый зарницы
 Чьи-то грозные зеницы
 Загорались над землею.

Зеницы хаоса: его огонь — в любви и в грозе.

Любовь и ненависть, любовь и смерть, любовь и убийство —
 «близнецы».

О, как убийственно мы любим!
 Как в буйной слепоте страстей
 Мы то всего вернее губим,
 Что сердцу нашему милей!

Жажда любви — жажда смерти, самоубийства.

И кто в избытке ощущений,
 Когда кипит и стынет кровь,
 Не ведал ваших искушений —
 Самоубийство и Любовь!

Жизнь — зло, жизнь — боль; чем живее, тем злее, больше.
 Бегство от зла, от боли — бегство от жизни — смерть.

Под мнимою волею к жизни, скрывается действительная
 воля к смерти. Космос взывает к хаосу:

Дай вкусить уничтоженья,
 С миром дремлющим смешай!

Природа — не дневная, призрачная, не «мир как представление», а ночная, истинная, «мир как воля», —

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
[Она] равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Все явления мира вызывают к своим тайным сущностям — к бурям воли, бурям хаоса, как желтые листья — к осенним ветрам:

О буйные ветры,
Скорее, скорей,
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите, —
Мы ждать не хотим!
Летите, летите, —
Мы с вами летим!

Весь мир — полет к смерти, к небытию. Все явления, все образы, все лики мира плывут в бездну роковую, как тающие льдины в океане:

Все вместе, малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой.
О, смертной мысли обольщенье,
Ты, человеческое я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Жизнь личности — только обольщение мысли, обман чувств, мимолетное видение, подобное радуге:

Смотри — оно уж побледнело;
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь, и живешь.

Жизнь личности даже не дым, а только «тень, бегущая от дыма». — «Мы смутно сознаем самих себя лишь грезой природы». — «Человек лишь снится сам себе».

Начало космоса, порядка есть начало разделения, различия (*principium individuationis*) начало личности; смерть — уничтожение космоса, уничтожение личности. В этом Тютчев не сомневается, верит в это со странною легкостью:

Бесследно все, и так легко не быть...

Жадно верит, потому что жадно хочет: ему ненужно бессмертия — ему нужна смерть.

Таково противоречие, заключенное в индивидуализме: от самоутверждения — к самоотрицанию личности. Потому-то индивидуализм и утверждает личность во времени так отчаянно, что отрицает ее же в вечности так безнадежно; для того-то и цепляется так судорожно за мнимую личность — «обольщение мысли», «обман чувств», чтоб не сорваться в пустоту безличного. А когда все-таки срывается, то утешает себя: в личности корень зла, корень страдания; я страдаю, потому что я — я; не будет меня — не будет страдания. И отсюда вывод: слепую волю к смерти надо сделать зрячею — и мир будет спасен, т. е. уничтожен. Таков последний вывод буддийской метафизики.

В начале:

Лишь жить в самом себе умей, —

а в конце:

О, смертной мысли обольщенье,
Ты, человеческое я!

В начале:

По высям творенья, как Бог, я шагал, —

а в конце:

Бесследно все, и так легко не быть.

В начале — самообожествление, а в конце — самоистребление личности.

Таков заколдованный круг одиночества.

Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Это безумие не только у Тютчева, но и у многих из нас: он сказал — мы сделали.

Индивидуализм приводит к пантеизму, обожествление человеческой личности — к обезличению Бога. Узнав по собственному опыту, какое ничтожество обожествленная личность, человек делает Бога безличным, чтобы спасти Его от ничтожества.

Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман...

И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

Божески или дьявольски всемирной, — это еще вопрос. Ведь, если у Бога нет лица, то как отличить Бога от беса? Ночью все кошки серы, в пантеизме все боги — бесы.

Когда пробьет последний час природы, —
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

Божий ли? Хаос — не только в начале, но и в конце мира. Мир, космос — только движение от хаоса к хаосу, — кто поверит, что такой мир создан Богом, а не дьяволом?

Пантеизм — утверждение: Бог все, — от атеизма — утверждения: Бог ничто, нет Бога, — отделяет один волосок.

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Никакой загадки, ни Божеской, ни дьявольской. Все ясно, все просто, все плоско.

Глухая тьма, глухая стена, о которую можно только разбить себе голову. И в природе, так же как в людях, — «насилие безмерной пошлости». Весь мир — даже не дьяволов, а ничей водевилей — пустышка, гнилой орех или гриб-дождевик, который, если проткнуть его, рассыпается черною пылью¹¹. Нечего стремиться к хаосу: мир уже хаос; нечего жаждать смерти: жизнь уже смерть.

Кажется, от этого последнего вывода Тютчев отшатнулся в ужасе и ухватился за христианство, как утопающий за соломинку.

«Надо преклониться перед безумием креста¹² или все отрицать», — сказал он однажды в беседе с приятелем.

О своем неверующем веке говорит, как врач о больном:

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он
И жаждет веры, но о ней не просит.

Но у кого же просить, если природа — сфинкс без загадки? Лепечет мертвыми устами мертвые слова, в которые надо бы верить, если бы верилось:

Нет, увядание земное
Цветов не тронет неземных...

Перед его же собственной силой отрицания, как это холодно,
как похоже на умную речь сановитого пастора:

И над могилою раскрытой
Ученый пастор сановитый
Речь погребальную гласит:
Вещает бренность человечью,
Грехопадение, кровь Христа...
И умною, пристойною речью
Толпа различно занята.

Речь умная, а все-таки —

Спирает грудь тлетворный дух...

И вот, наконец, последнее признание:

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе!

В этом бездонном отчаянии всего ужаснее то, что оно такое
тихое, ясное: чем яснее, тем бездоннее.

По сравнению с нигилизмом Тютчева добрый, старый ниги-
лизм русских мальчиков по Мошотту и Бюхнеру — какая
детская шалость! Они, ведь, сами не знают, о чем говорят, —
целят мимо. Тютчев знает, — целит верно. Их нигилизм плос-
кий, его — из глубины глубин. Он заглянул туда, куда почти
никто не заглядывал. И вот, все-таки решил: там ничего нет,
ни Бога, ни дьявола.

И когда он это решил, то лицо у него стало «страшное, тем-
ное, нечеловеческое», как у того порченного, бесноватого Яко-
ва.

«— Я его вижу...

— Его? Кого его?

— Да того... что к ночи называть неудобно...

— Да это тень тебе мерещится... это чернота от тени»...

Чернота от тени легла на него и окружила его «паническим
ужасом».

Бедный Тютчев! Бедные мы! Он только рассказал то, что про-
исходит во многих из нас. Ведь не он один повстречался в лесу
со «старичком зеленым».

III

И вот, после всего этого — христианнейшая политика. Что за бессмыслица или что за бессовестность!

«Чтобы сделать соус из зайца, нужно зайца»; чтобы сделать христианскую политику, нужно христианство. А буддийский нигилизм Тютчева так же похож на христианство, как цианистый кали на поваренную соль.

Тютчев умен, и политика его неглупая; что же касается до совести, то она менее всего в политике. И. С. Аксаков верно заметил, что славянофильство Тютчева было «чем-то отвлеченным, а не делом жизни».

Политика — игра. Из всех детских игр — самая детская; из всех «златотканых покровов дня» — самый призрачный. Если жизнь — тень, то политика — тень тени; если жизнь — сон, то политика — сон во сне. Что же с нее и спрашивать? Чем бы дитя ни тешилось.

Как «игре ума», должно ей отдать справедливость: златотканый покров лжи Тютчев ткет из настоящего или почти настоящего золота. Это, конечно, не древневизантийский и даже не древнерусский подлинник, а подделка. Но зато какое искусство в подделке, какое варварское великолепие красок! Все крестики да орлики, а между ними страшилища, которые могли придти в голову только утонченному варвару. Что варварство может быть утонченным, это он уже знает: дряхлые византийские эллины любят юных варваров, между прочим, и славян (тоже «славянофилы») ¹³, потому что отдыхают от своих утончений и пресыщений на их варварской дикости.

Но для тех, для кого политика не игра ума, а дело жизни, — византийская реставрация Тютчева — кощунство из кощунств, мерзость из мерзостей. К счастью, те и не знают ее, — к счастью, а может быть, и к несчастью, потому что главная слабость русской общественности — слишком легкое презрение к силам врага, убеждение, что старый порядок в России держится только «штыками да пушками». Это самообман: как всякое умирающее, но все еще живое тело, старый порядок держится духом живым, т. е. внутренним ладом, строем, стилем жизни. Вот этот-то стиль, древнерусский или византийский, и выразил Тютчев в точнейшей математической формуле.

Одно из свойств русского славянофильства — мягкотелость, бескостность, неумение или нежелание доводить мысль до конца, договаривать, ставить точки на *i*, — свойство, которое делает славянофильство ни Богу свечкой, ни черту кочергой.

В чем другом, а в этом нельзя обвинять Тютчева: он вкладывает кости в тело, ставит точки на *i*. У него беспощадная логика: стоит принять посылки, чтобы сделать неизбежными выводы.

Сущность революции — человеческое, ставящее себя на место Бога; «самовластие человеческого *я*, возведенное на степень политического и социального права». Эта сущность — антихристианская, «антихристова», ибо «антихрист» и есть человек, поставивший себя на место Бога, «человекобог»¹⁴.

Таковы посылки, а вот и выводы.

Сущность Европейского Запада — революция, антихристианство, т. е. ложь, а человеческое общество, построенное на лжи, обречено на гибель.

«Будет ли Франция иметь силу отречься от революции и сделаться снова христианской и монархической?» — спрашивает Тютчев в 1870 г., накануне Коммуны. — «Если нет, — решает он, — то гибель ее неизбежна». И не только гибель Франции, но и всего Европейского Запада. «Запад отходит, все рушится, все гибнет в этом общем пожаре. Цивилизация убивает себя своими собственными руками», — предсказывал он еще в 1848 г. И в 1873 г., после Коммуны: «что-то вроде размягчения мозга у целой нации... Состояние, близкое к идиотизму... Судорога бешенства овладела Европою... Целый мир стал воплощенной ложью»... Последнее слово Запада — «слово Иуды, который, предав Христа, очень умно рассудил, что ему остается одно: удавиться».

Все вообще славянофилы ненавидят Запад¹⁵, может быть, не менее Тютчева, но стыдятся, робеют и сами не знают, что делают, когда с медвежьей ловкостью сгоняют муху со лба спящего друга булыжником. Тютчев знает. Правда, это для него только «игра ума»; но что для него игра, то для других дело. Все мысли Достоевского о «человекобожестве» революции — почти дословное повторение Тютчева.

Люди стыдливо скрывают тайну своего зачатия и рождения: так славянофилы скрывают ненависть к Западу, из которой они родились. Тютчев обнажил этот стыд, и, если нагота оказалась чудовищной, то вина не его, а русского стиля, «русского духа»...

...Таков стыд славянофильства, обращенный к Западу, а вот и другой стыд, обращенный к России:

Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Христос благословил Россию, а все остальные народы проклял.

В мире только две силы: Россия и революция. «Между тою и другою не может быть ни договоров, ни сделок: что для одной жизнь, то для другой смерть. От исхода борьбы зависит вся будущность человечества... Над громадным крушением Запада всплывает еще более громадная Русская Держава святым ковчегом... Кто дерзнет усомниться в ее призвании?»

Не верь в святую Русь, кто хочет, —
Лишь верь она себе самой!

«Ну вот, мы в схватке со всею Европою (в 1854 г., накануне Севастополя). Это заговор. В истории не бывало примеров гнусности, замышленной и совершенной в таком объеме»... Ополчение Европы — ополчение безбожия против России, самого «антихриста» против Христа:

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы.

«Дело идет о последней борьбе всего Запада с Россией. Очень возможно, что Россия погибнет. Но, если бы случилось, что погибнет не она, то уже не с Россией придется иметь дело Западу, а с чем-то исполинским и окончательным, чему еще нет имени в истории». Предсказание Наполеона на Св. Елене: «через 50 лет Европа будет революционной или казацкою» (т. е. русскою), — уже исполняется.

Революция и Россия — «море и утес». Волны бьют об утес — разбиваются, и, рано или поздно, присмирят окончательно.

И без вою, и без бою,
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна.

Или как Хомяков предсказывал:

И другой стране *смирненной*
Бог отдаст судьбу вселенной
Меч земли и гром небес¹⁶.

От такого смирения сам дьявол не отказался бы.

Иногда кажется, что Тютчев смеется. Но нет, не смеется, а только усмехается, радуясь великолепным страшилищам.

Всего бесстыднее открывает он наготу славянофильства там, где оно всего стыдливее, — в вопросе о религиозном смысле самодержавия.

«Верховная власть народа¹⁷ (la souveraineté du peuple) есть по существу своему идея антихристианская». Верховная власть народа и власть царя исключают друг друга. — А как же 1612 год (т. е. избрание на царство Романовых)? — спрашивает Хомяков. Вопрос имел бы смысле для Тютчева, если бы царская власть была только мирскою: такая власть, действительно, зависит от избрания народного. Но власть царя и мирская, и церковная вместе — власть от Бога, помазание Божие; царь не только царь, глава государства, но и первосвященник, глава церкви, наместник Христа, папа, хотя и обратный, потому что в Риме церковь становится государством, а в России государство — церковью.

В этой противоположности двух теократий, восточной и западной, заключается главная мысль Достоевского¹⁸, который идет дальше всех славянофилов; но и он до конца не доходит. Тютчев дошел до конца.

О, будь же, царь, прославлен и храним,
Но не как царь, а как наместник Бога,

т. е. как папа Третьего Русского Рима.

Он божеством себя провозгласил;
О новом Богочеловеке
Вдруг притча родилась и в мир вошла, —

мог бы сказать Тютчев о папе не только Первого, но и Третьего Рима.

«На Российском престоле находится государь, в котором воплотилась русская мысль», т. е. мысль о царе как о первосвященнике. В 1846 году император Николай I посетил Рим, был в соборе Св. Петра и молился у гроба апостолов. «Коленопреклоненный царь был не один, — говорит Тютчев, — вся Россия была там, склоняя колена вместе с ним. Будем же надеяться, что не напрасно вознеслась ее молитва перед святыми останками» («Папа и римский вопрос», 1849 г.).

Между тем как новые славянофилы (Булгаков, Бердяев, Эрн, Флоренский и все вообще «Веховцы») косноязычно мямлят, — Тютчев говорит ясно и отчетливо: самодержавие с православием связаны как внешность и внутренность, форма и содержание, тело и дух. Самодержавие — Апокалипсис православия; православие в самодержавии исполняется. Разорвать их значит убить.

И, наконец, последний вывод — русская всемирная империя.

«Нельзя отвергать христианскую империю, не отвергая христианской церкви. Они обоюдны (corrélatifs). Церковь, освящая империю, ее себе приобщила и сделала ее окончательной (абсолютной)». Единая вселенская церковь — единая вселенская империя.

Ее восстановлению должны содействовать два великих дела: в области светской — образование Греко-Славянской империи; в области духовной — воссоединение церквей, или, вернее, поглощение западной церкви восточную.

«Империя существовала всегда, только меняла властителей. Четыре империи: Ассирийская, Персидская, Македонская, Римская. С Константина Равноапостольного начинается пятая, окончательная — христианская. Ее завершение — Россия...»

...Не замыкается ли здесь поэзия с политикой в один заколдованный круг? Не так же ли и здесь воля космоса к хаосу?

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!

И лицо самого колдуна не становится ли снова «темным, страшным, нечеловеческим»?

Всемирная монархия, на самом деле, не последний, а только предпоследний вывод: несмотря на всю свою логику, последнего вывода Тютчев так и не делает.

«Рим счел себя вправе устроить царство Христово как царство от мира сего».

И святотатственной опеке
Христова церковь предана была...

«Разве присваивать себе божественное не значит отрицать его?»

Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа...
Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, —
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред».

Свобода — бред, — но ведь это и есть основная посылка Тютчева, из которой он делает все свои выводы. Дух свободы, дух революции — «антихристов дух».

Византийская реставрация Тютчева, эта драгоценная ткань оказалась непригодной для русской политики: дело обошлось дешевле. Но на полинялой тряпиче современного национализ-

ма, если всмотреться в него, — можно узнать тот же узор — «орлики да крестики», как на златотканной ризе Тютчева...

В 1855 г., во время коронации Александра II, в Москве, глядя с первой площадки Ивана Великого на толпу, ожидавшую царского выхода, Тютчев испытывал странное чувство: ему казалось, что прошли века, и «суд Божий совершился, Великая Империя основалась». — «Она вступала в свое бесконечное поприще там, в странах иных, под солнцем более ярким, ближе к дуновениям юга и Средиземного моря. Новые поколения овладели миром... и едва помнили о той тесной тьме, в которой мы теперь обитаем... И тогда все это Кремлевское зрелище, при котором я присутствовал, эта толпа, так мало подозревающая, что висит над нею в будущем, давящая друг друга, чтоб только увидеть царя, — все это показалось мне каким-то видением, далекого прошлого, а люди, что около меня двигались, как будто уже давно исчезли с лица земли. Я вдруг почувствовал себя современником правнуков...»¹⁹

Казалось бы, радоваться? Но вот, вместо радости — тоска...

Что это значит? Или свет вечности — такой же болезненный, как свет смертного дня?

О, как лучи его багровы!
Как жгут они мои глаза!

Как бы то ни было, но лгать он больше не мог.

«Я сделал то, что было свойственно моей природе: я убежал из церкви и, одинокий, вернулся прямою дорогою в мою комнату, к моему шлафроку и к моему завтраку». К обломовскому шлафроку и завтраку.

«Убежал из церкви», как «порченный» Яков, сын о. Алексея.

Этим и кончилась его политика. Жизнь народов, жизнь всех — такое же ничтожество, как жизнь каждого человека в отдельности, — тень тени, сон во сне.

Бесследно все, и так легко не быть.

Вернулся в молчание, в уединение. И оглядываясь на свою жалкую попытку подойти к людям, мог бы осудить себя снова страшным судом:

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе!

Как такая политика соединяется с таким нигилизмом? Этот вопрос надо повернуть обратно: как такой нигилизм мог бы соединиться с иною политикой?

Нигилизм Тютчева вскрывает самую сущность того, что выдается и по сей день за русский стиль, за русский дух. Тютчев не лучше и не хуже других славянофилов: он только правдивее всех.

IV

Правдивость — оправдание поэта: ведь поэзия не что иное, как высшая степень правдивости.

Самой страшной и жалкой правды о себе никто никогда не высказывал безжалостнее, бесстрашнее Тютчева. Может быть, эта последняя правдивость — от последнего одиночества. Есть такие признания, которых люди не делают не только другим, но и себе. Тютчев их делает, потому что не боится быть подслушанным: он всегда один, бесконечно далек от людей, невидим для них, как «дневная звезда».

Когда человек один, то молчит или говорит с самим собою беззвучным, внутренним шепотом. Слова Тютчева — такой шепот: они менее всех человеческих слов нарушают молчание.

Поэт может знать правду о себе, не зная правды о людях, о мире, о Боге; знать правду личную, не зная правды общей. Такова поэзия Тютчева.

Только раз в жизни прикоснулся он к общей правде — в любви. Уже почти стариком он полюбил молодую девушку²⁰.

«Читая его дышащие страстью письма, отказываешься верить, что они не вышли из-под пера впервые полюбившего 25-летнего юноши», — говорит лицо, близко знавшее Тютчева.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь,
Ты и блаженство, и безнадежность!

Мы почти ничего не знаем об этой любви; нам осталось от нее только несколько песен, ни с чем не сравнимых в русской, а может быть, и во всемирной поэзии.

Он пожертвовал любви семейным счастьем, добрым именем, успехом в жизни, а главное, тем покоем, которым больше всего дорожил. И не только собою, но и ею, любимой. «Был палачом и жертвою вместе», — говорит тот же свидетель. Любя, убивал.

О, как убийственно мы любим!

Это длилось 14 лет, до самой ее смерти.

Весь день она лежала в забытии,
И всю ее уж тени покрывали;
Лил теплый дождь, его струи
По листьям весело звучали.
И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу.
И вот, как бы беседа с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как все это я любила!»

Вот, когда он вышел из созерцания в действие, потому что любовь и есть главное действие, дело жизни; вот когда понял или, по крайней мере, мог бы понять, что правда молчания, уединения —

Лишь жить в самом себе умей, —

еще не последняя.

На стон умирающей:

«О, как все это я любила!»

почему не ответил:

Бесследно все, и так легко не быть?

Не быть — не любить: только нелюбящий может принять смерть, как небытие. Любящий любит живое лицо любимого. Любовь есть воля к бессмертию личности.

Вот бреду я по большой дороге
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Если конец жизни — конец всего, то и спрашивать нечего.

Смерть — освобождение от муки жизни: так — в созерцании, в неделании, а как доходит до дела, сердце хочет муки, потому что хочет любви:

О, Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей!
Ты взял ее, но муку вспоминая,
Живую муку мне оставь по ней!

Да, Тютчев мог бы спастись любовью и, если не спасся, то был уже на краю спасенья. Но не понял этого, — не понял и погиб или думал, что гибнет.

«Мое душевное состояние ужасно. Я изнываю в темной, бездонной пропасти. Смысл моей жизни утрачен, и для меня ничего более не существует», — писал он в эти дни.

«Когда Тютчев вернулся из Ниццы в Париж, мы, чтобы переговорить, зашли в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трельяжем из плюща. Я молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от падавших на нее слез» (рассказ И. С. Тургенева в «Воспоминаниях» Фета).

На «Молчание», *Silentium*, на всю жизнь и поэзию Тютчева лучший ответ — эти слезы.

В конце 1872 года он заболел. Как все одинокие, боялся остаться один и жался к людям. Несмотря на предостережения врачей, уже совсем больной, продолжал свою светскую жизнь. 1 января 1873 года вышел поутру из дому для новогодних визитов. Вскоре привезли его домой, разбитого параличом.

«Прикованный к постели, с ноющею и сверлящею болью в мозгу, не имея возможности ни приподняться, ни перевернуться, без чужой помощи, голосом, едва внятным, он требовал, чтобы ему сообщали все политические и литературные новости. Порывался встать на ноги, вернуть себе свободу движений, выйти на вольный воздух, но, изнеможенный от напрасных усилий, падал в обморок» (Аксаков).

Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет и не может.

11 июня сделался новый припадок: его внезапно охватили судороги и сменились оцепенением. Все думали, что он умирает; «но недвижимый, почти бездыханный, он сохранил сознание». И, когда через несколько часов оцепенение миновало, он произнес чуть слышным голосом:

— «Какие последние политические известия?»

Большую часть дня лежал, как бы в забытии или полусне, как тот созерцающий лебедь, —

Скользя между двойною бездной.

— «Ег horcht, ег denkt» (он слушает, он думает), — замечал доктор.

«Вокруг него велись речи его домашними, но он молчал».

Какова жизнь, такова и смерть: в молчании жил, в молчании умер.

Через 9 дней припадок повторился; теперь уже никто не сомневался, что он умирает. Священник прочел над ним отходную. Но через полдня умирающий ожил, а когда его стали поздравлять и обнадеживать, он только усмехнулся:

— «А ведь меня уже отпели»...

И тотчас прибавил:

— «Какие получены подробности о взятии Хивы?»

Все еще старался удержать над бездною ночи «покров дня».

Но меркнет день, настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покова,
Сорвав, отбрасывает прочь...

Доктора уверяли, что ему остается жить день-два, но он прожил еще три недели. И все молчал.

Ранним утром, 15 июля, лицо его приняло внезапно выражение какого-то торжественного ужаса; «глаза широко раскрылись, как бы вперились вдаль; он не мог ни шевельнуться, ни вымолвить слова, — казалось, весь уже умер. Но никогда лицо его так не светилось мыслью, как в этот миг», — рассказывали потом присутствовавшие при его кончине. — «Просиял и погас», — уверяет Аксаков.

Как погас, мы видели; но как просиял, не видим. Его судьба — наша: если он просиял, то и мы тоже; но просияем ли, это еще вопрос.

Во всяком случае, то, в чем видит Аксаков спасение Тютчева, — его православие — сомнительно. Недаром усмехается он в такую минуту, когда люди вообще не смеются.

— А ведь меня уже отпели...

Это отпевание — не пение ли жаворонка в тот вечер мгlistый и ненастный, в поздний, мертвый час?

Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс...

Нет, чем бы ни спасся он, — только не этим.

— «Не хочу я верить, чтобы Господь стал судить его Своим строгим судом», — говорит о. Алексей о своем погибшем сыне.

Мы видели гибель Тютчева здесь, на земле; чтобы увидеть его спасение в вечности, нам нужно понять, что соединяет его с существом, наиболее противоположным и подобным ему, быть может, не только здесь, но и в вечности, — с Некрасовым.

V

Лет шесть назад, около 1907—1908 года, в Париже, зайдя к одному русскому эмигранту, будущему автору «Коня Бледного»²¹, Ропшину, я увидел у него на столе маленькую знакомую книжку, «Стихотворения» Тютчева, и удивился, огорчился: как, неужели и здесь та же зараза, от которой я бежал из России?

Но скоро я понял, что это не так: не для отвлеченной эстетики, не для созерцания, а для действия, для дела жизни, все для того же дела общественного, нужен был Тютчев автору «Коня Бледного»²², точно так же, как Некрасов нужен был тому поколению, из которого вышли народовольцы 70-х годов.

Тютчев — боль, но боль может быть ростом; Тютчев — яд, но яд может быть лекарством. Я понял, что Ропшин растет и лечится Тютчевым; растет из Некрасова, как из детских одежд, и лечится от Некрасова, как от детской болезни. Я понял, что Ропшин тянется к Тютчеву, точно так же, как Некрасов некогда тянулся к нему.

Некрасов — поэт общественности, Тютчев — поэт личности. Но правда личности — такая же вечная, как правда общественности. То, что я — я, так же таинственно, божественно, как и то, что все — все, другое великое Я — народ, человечество, общество. Индивидуализм, анархизм так же вечен и не полон, как социализм. Я могу жертвовать собою для всех, но все не могут мною жертвовать. Я один, единственный — такая же ценность для всех, как все для меня. Мир погибнет, а все-таки я — я, не только во времени, но и в вечности. Я себя не от людей принял и не людям отдам.

So bin ich ewig, denn ich bin!

Итак, я вечен, потому что есмь!

(«Прометей». Гете)

Вот эту-то правду личности, правду одного, единственного (индивидуализм-анархизм), противопоставленную правде всех, правд общественной (социализму), Некрасов лишь смутно предчувствовал, но не сознавал.

Ее создало или уже почти сознает поколение, из которого вышел автор «Коня Бледного». За эту правдой оно и потянулось к Тютчеву.

Лишь жить в самом себе умей, —

правду молчания, уединения Ропшину надо было принять, чтобы противопоставить иной правде, именно здесь, в самом острие двух правд — в вопросе о революционном насилии, убийстве, терроре: «нельзя и надо убить».

Поколение Ропшина не только услышало зов Некрасова, но и пошло на зов:

От ликующих, праздно-болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!²³

Но вот и любящее обагрят руки в крови; любя, ненавидят; любя, убивают.

О, как убийственно мы любим!

В видении «Коня Бледного» Некрасов и Тютчев соприкасаются, как два грозových тока в молнии.

О, бурь уснувших не буди,
Под ними хаос шевелится! —

это можно сказать не только о бурях пола, бурях личности, но и о бурях общественности.

Хаос ответил хаосу, террор пола и личности — террору общественному. От убийства к самоубийству, от убийственного соединения к самоубийственному уединению — таков наш путь.

Один ли Тютчев — «порченный», «сглаженный»? Нет, не один. Ко многим пришел «тот, кого к ночи называть неудобно», с лицом Азефа-провокатора²⁴; на многих легла «чернота тени» и окружила их «паническим ужасом».

Неправда личная, зло мировое заслоняется от Некрасова неправдой общественной, злом человеческим; от Тютчева — наоборот, неправда общественная — злом личным и космическим. Некрасов не видит смерти за жизнью; Тютчев не видит жизни за смертью.

Но Некрасов понял Тютчева, хотя бы только предчувственно, бессознательно, ибо «многое можно знать бессознательно» (Достоевский)²⁵. А Тютчев не понял Некрасова. Вот почему

сейчас, но, может быть, именно только сейчас, Некрасов нам ближе, нужнее, современнее Тютчева.

К Некрасову мы были неправы в нашем декадентстве вчерашнем; будем же неправы и к Тютчеву в нашей сегодняшней общественности, чтобы восстановить правоту последнюю, понять и соединить обоих.

И вот почему из подземной пещеры тютчевской Музы, Аэндорской волшебницы²⁶, где нашептано, накурено, наколдвано так «тихоструйно, тиховейно, дымно-легко, мглисто-лилейно», мы выходим с такою отрадою на вольный воздух, на Божий свет, хотя и на будничный, серенький день — «понедельник» Некрасова.

Сейте, разумное, доброе, вечное! —

это обыкновенно, однозвучно, как шелест осенней капли или чуть слышный шелест слез людских, но зато нужнее сейчас, — нужнее, добрее, святее, а значит, и прекраснее, чем те заклинания волшебные.

Некрасов погибал со всеми, Тютчев — один. Но оба могли бы сказать, как Некрасов умирающий: «Ничего не понимаю, что со мною делается!» И мы все, погибая в злом соединении, в безличной общественности, с Некрасовым, — в злом уединении, в безобщественной личности, с Тютчевым, могли бы сказать: ничего не понимаем, что с нами делается!

И если погибнем, то гибель наша будет здесь, в пропасти между Некрасовым и Тютчевым; а единственный путь спасения — мост, соединяющий оба края пропасти.

Тютчев и Некрасов — двойники противоположные. Что противоположны, видят все; что двойники, — никто. А стоит взглянуться, чтобы увидеть.

Некрасов весь в бессознательном действии; Тютчев — в созерцании бездейственном. У Некрасова религиозное народничество революционное, во имя России будущей; у Тютчева — консервативное, во имя России прошлой (славянофильство тоже «религиозное народничество», хотя и с другого конца).

О самом Некрасове можно бы сказать то же, что он сказал о Чернышевском:

Его послал Бог гнева и печали
Раба земли напомнить о Христе²⁷.

О Христе — о свободе. А Тютчеву и Христос напоминает о рабстве:

Всю тебя, земля родная,
 В *рабском виде* Царь Небесный
 Исходил, благословляя.

Есть два рода людей. Одни верят или знают (тут знание и вера одно и то же), что, несмотря на всю неправду и зло мира, он все-таки в корне добр: «все добро зло». А из веры в добро — и воля к добру:

Сейте разумное, доброе, вечное!

Это — христиане, не в историческом, временном, а в метафизическом, вечном смысле, хотя бы они во Христа не верили.

Другие верят или знают, что мир в корне зол: «все зло зело», все к худу. Сколько ни сей доброе, вырастет злое. Это — нехристиане, опять-таки в смысле вечном, хотя бы они во Христа и верили.

К первому роду людей принадлежит Некрасов, ко второму — Тютчев. Некрасов извне атеист, внутри верующий; Тютчев извне верующий, внутри атеист.

Но, как ни противоположны они, а в какой-то одной точке, именно здесь, в вере, сходятся. Если бы Некрасов хотел, а Тютчев мог верить, это была бы одна вера.

Недаром понял Некрасов, только он один и понял Тютчева.

«Впечатление, какое испытываешь при чтении этих стихов («Осеннего вечера»), можно сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен».

Да, Некрасов понял тайну Тютчева: вечную влюбленность, вечную женственность:

«О, как все это я любила!» —

говорит умирающая возлюбленная и умирающая Муза Тютчева. Уходя от земли, все еще любит землю:

Нет, моего к тебе пристрастья
 Я скрыть не в силах, мать-земля! —

говорит Тютчев, и мог бы сказать и Некрасов.

Ты, ты, мое земное Провидение!²⁸ —

кому и кем это сказано, возлюбленной — Тютчевым или матери — Некрасовым? Земле-Возлюбленной или Земле-Матери?

Оба верят в землю, оба любят землю. Но земля Некрасова — родная, дневная, здешняя:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа, —

та самая, которую так хотел и не мог полюбить Тютчев. А земля Тютчева — чужая, ночная, нездешняя:

Край иной — родимый край.

Некрасов любит землю, как тело матери, Тютчев, — как тело возлюбленной. Вечная Матерь — Вечная Возлюбленная. Одна — Земная, другая — Небесная. Сейчас их две, но будет одна: Небесная будет Земной.

Кто это? Что это? Оба не поняли.

Если бы Некрасов понял, что свобода есть Бог; если бы Тютчев понял, что любовь есть Бог²⁹, то соединились бы две тайны русской поэзии.

Оба не поняли. Отцы не поняли, дети не понимают, — может быть, внуки поймут?

О Тютчеве как о великом поэте заговорил первый Некрасов.

В 1850 г., в январской книжке «Современника», напечатана статья «Русские второстепенные поэты». — «Второстепенные, — объясняет Некрасов, — не по степени достоинства, а по степени известности». Тогда еще самое имя Тютчева не было известно: в пушкинском «Современнике» 30-х годов он подписывал «Ф. Т.».

По поводу «Осеннего вечера»:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть... —

«каждый стих хватается за сердце, — говорит Некрасов, — как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы ветра; их и слушать больно, и перестать слушать жаль».

Недаром услышал Некрасов у Тютчева эти звуки ветра осеннего: ведь его же собственная песнь родилась из той же музыки:

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует...³⁰

Из той же музыки ветра ночного:

О чем ты воешь, ветер ночной,
О чем так сетуешь безумно?

Для Некрасова — о муке рабства, о воле человеческой; для Тютчева — тоже о воле, но иной, нечеловеческой — о «древнем хаосе».

«Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, — продолжает Некрасов, — можно сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен».

Смерть и влюбленность. Вся природа — сквозь смерть и влюбленность.

О ты, последняя любовь,
Ты и блаженство, и безнадежность!

Этими двумя намеками — на бурю смерти, бурю хаоса и на влюбленность, начало космоса — проникает Некрасов в тайну Тютчева как никто из критиков.

«Вот почему мы нисколько не задумались поставить Ф. Т. рядом с Лермонтовым», — заключает Некрасов. Пушкин, Лермонтов, Тютчев — три вершины, три истока русской поэзии, — это он первый увидел.

Достоевский в надгробной статье о Некрасове³¹ поставил не Тютчева, а самого Некрасова «прямо вслед за Пушкиным и Лермонтовым, в ряду поэтов, приходивших с новым словом». И уж, конечно, недаром вспомнил Достоевский Тютчева по поводу Некрасова: понимал или предчувствовал, что эти две крайности, две тайны русской поэзии сходятся.

Тютчев и Некрасов — воплощенное отрицание и утверждение русской революционной общественности — это в самом деле два полюса, которыми определяется вся грозная сила, все магнитные токи русской поэзии, а может быть, и русской действительности. Ведь, именно Тютчев для нас, «детей», — то же, чем был Некрасов для наших «отцов»: не только поэт, но и пророк, учитель жизни.

Жить по Тютчеву значит умереть для Некрасова; жить по Некрасову значит не родиться для Тютчева. Некрасов и Тютчев встречаются в наших сердцах, как враги на поле битвы; как солнце и месяц:

Смотри, как днем туманисто-бело
Чуть брезжит в небе месяц светозарный;
Наступит ночь — и в чистое стекло
Вольет елей, душистый и янтарный...

Во дни Некрасова, в морозно-солнечные дни русской общественности, в рабочие будни 60-х годов, не видно было Тютчева, как дневного месяца:

Весь день, как облак тощий,
Он в небесах едва не изнемог;
Настала ночь — и светозарный бог
Сияет...

Настала ночь Некрасова — и засиял Тютчев.

Ночью люди спят; бодрствуют и видят немногие. Эти немногие, увидевшие Тютчева — Пушкин, Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Некрасов и, наконец, мы, «декаденты», «дети ночи», по преимуществу. Хорэг, запевало всей новейшей русской поэзии, певец певцов — Тютчев.

Он — сверстник и почти ровесник Пушкина. Что «Silentium» написано в 30-х годах (напечатано в «Молве», в 1835 г.) и, следовательно, почти современно «Евгению Онегину», этому трудно поверить, — до такой степени оно сегодняшнее, завтрашнее.

Для чувства и воли нет времени: они движутся в вечности; только мысль, сознание — во времени. Чем сознательнее, тем современнее. Тютчев — поэт сознания, — вот почему он «современнейший из современников».

«Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата»³², — говорил Пушкин. «Глуповата» — непосредственна, нечаянна, бессознательна. Тютчев доказал, что поэзия может и не быть «глуповатою», что ей ума убояться нечего. Пушкин умен, но его поэзия не столько умная, сколько мудрая, вещая. Его сознание уже не наше. Вот почему он вечен, но не современен. Именно здесь, в сознании нашем, Тютчев современнее Пушкина.

Современнейшая из всех наук, можно сказать, источник всей нашей современности, — гносеология, ставящая вопрос о возможности религиозного опыта, религиозного ведения, гнозиса. Это «Сэзам, отворись» всех дверей к будущему. Знать или не знать — быть или не быть современного человечества.

Тютчев не гносеолог в отвлеченном смысле. Как все поэты, он существо крылатое: не лазает по диалектическим лестницам, а летает и видит под собою уступы их в бездонных пропастях сознания.

Некогда чувство разлагалось мыслью, вера — знанием. Теперь не так: мы поняли, что есть глубина чувства, глубина веры — именно там, где вера и чувство соприкасаются с волею — ни для какой мысли неразложимая. Свет сознания, как свет исполинского прожектора, только углубляет мрак бессознательного, мрак чувства и воли.

Die Nacht ist tief
Und tiefer, als der Tag gedacht.

Ночь глубока,
И глубже, чем думал день.
(Ницше)³³

Чем ярче свет, тем мрак бездоннее. Потому-то и близок нам, современен Тютчев, что он соединяет, как никто, высшую сознательность с глубочайшей стихийностью. «Мысль его, — говорит Тургенев, — как огненная точка, вспыхивает под влиянием глубокого чувства». Глубина чувства — глубина мысли; огненность чувства — огненность мысли.

Ich singe wie der Vogel singt *, —

это самое неверное, что можно сказать о Тютчеве. Он менее всего невинен птичьей невинностью. Птица не знает, о чем поет; он знает или, по крайней мере, хочет знать (потому что иногда знать нельзя). Сквозь него, человека, как сквозь рупор, говорят стихии нечеловеческие:

Понятым сердцу языком
Твердят о непонятной муке,
И ноют, и взрывают в нем
Порой неистовые звуки.

Понятное о непонятном, сознательное о бессознательном — в этом вся поэзия Тютчева, вся поэзия нашей современности: красота Ведения, Гнозиса.

Там, где Л. Толстому и Достоевскому нужны целые эпосы, Тютчеву достаточно несколько строк; солнечные системы, туманные пятна «Войны и мира», «Братьев Карамазовых» сжимает он в один кристалл, в один алмаз. Вот почему критика так беспомощно бьется над ним. Его совершенство для нее почти непроницаемо. Этот орешек не так-то легко раскусить: глаз видит, а зуб неймет. Толковать Тютчева — превращать алмаз в уголь.

Мысль делает его всемирным, ибо существо мысли всемирно. Пушкин, даже в лучших переводах, непонятен для нерусских; он только для нас, изнутри всемирен. Тютчев, если бы его перевести как следует, был бы так же понятен, как Л. Толстой и Достоевский: он и для мира, извне всемирен.

И вот, современнейший, всемирнейший из русских поэтов остается в России неведомым. Если читатели знают имя его, то разве только по школьным хрестоматиям: «Люблю грозу в на-

* Пою я словно птица (нем.). — Ред.

чале мая», да «Пошли, Господь, свою отраду». Года два-три назад, нельзя было достать в книжных лавках «Стихотворений» Тютчева. Представьте себе, что в России нельзя достать Л. Толстого и Достоевского; а ведь Тютчев для русской лирики сделал почти то же, что они — для русского эпоса. Тут, конечно, виновато наше невежество, одичание критики. Но не только это.

Великие силы в мире духовном, так же как в вещественном, действуют невидимо. Никто не видит радия, но он во всем живом: так Тютчев — в нас, во всех; невидим, неведом, но не бездействен. Мы его не знаем, но им живем. Не видим его, как пойманные мухи не видят стекла, о которое бьются. Влечемся к нему, идем на него, как лунатики с закрытыми глазами идут на лунный свет. И, может быть, именно те, кто менее всех видит его, влекутся к нему более всех. Где-то незримо, неслышно колдует колдун, и все живут под этим колдовством.

Немногие знают высшую математику; но, если бы вынуть ее из человеческого знания, — лицо земли изменилось бы: телеграфы, телефоны умолкли бы, аэропланы перестали бы летать. Легко понять связь высшей математики с механикой, с движением звука по телеграфной и телефонной проволоке или с полетом аэроплана. Труднее понять связь «Критики чистого разума» с мыслью умирающего о том, что там, за гробом, или с шепотом влюбленного. А между тем, если бы вынуть Канта из нашего мышления — что-то изменилось бы в наших предсмертных мыслях и в нашем влюбленном шепоте. Самое сильное — самое тихое. Тише всех, сильнее всех русских поэтов — Тютчев.

Русская поэзия больна, потому что больна Россия³⁴. Больна, заражена, отравлена. Чистейший кристалл этого яда или чистейшая культура этой бациллы — в Тютчеве. И никто не знает о нем, как зараженные не знают о первом больном.

Это — зараза наследственная, от отцов к детям: с молоком матери мы всасываем в себя Тютчева, но не помним его, как взрослые не помнят вкуса молока матернего.

Трудно больному судить о болезни: так трудно нам судить о Тютчеве, быть к нему справедливыми; а может быть, и не следует. Быть справедливым, только справедливым — значит быть неподвижным. Двигаться — нарушать равновесие, нарушать справедливость. Будем же не только справедливы к Тютчеву, будем любить и ненавидеть его до конца, — иначе не поймем, а понять его нам нужно: понять его значит выздороветь.

Лучше всех врачей больной знает боль свою, потому что знает ее изнутри: так мы знаем Тютчева лучше всех критиков. Мы

уже не ошибемся, как Вл. Соловьев; не примем за поваренную соль кристаллы цианистого кали.

Вот вчерашний русский интеллигент-общественник, эдек или эсер, говоривший на революционных митингах 1905 года», сегодня разочаровался, уединился и замолчал, — захотел «быть как солнце», по Бальмонту³⁵, «полюбил себя, как Бога», по З. Гиппиус. Это смешно и грустно, — может быть, даже страшно. Но это так: самоубийство и самоубийственное одиночество сейчас в России — такое же «бытовое явление», как смертная казнь. Кто же это сделал? Русские декаденты — Бальмонт, Блок, Брюсов, Белый, З. Гиппиус? Да, они. Но через них — Тютчев.

А самоубийцы так и не знают, что цианистый кали, которым они отравляются, есть Молчание, Silentium:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои...
Лишь жить в самом себе умей...

Его болезнь — наша: индивидуализм, одиночество, безобщественность. Но почему же и самый общественный из русских поэтов, Некрасов, тянется к Тютчеву? И что значит это совпадение русских декадентов с Некрасовым? На какой глубине происходит оно, видно уже по тому, что здесь, в оценке Тютчева, Некрасов совпал не только с декадентами, но и с Пушкиным, началом всех начал.

Не будет ли и в конце того же, что было в начале? Если сейчас Некрасов и Тютчев так враждебны в нас, то не примирятся ли в детях или внуках наших? Вопрос о нашем будущем не есть ли этот вопрос о соединении Тютчева с Некрасовым?

1915

